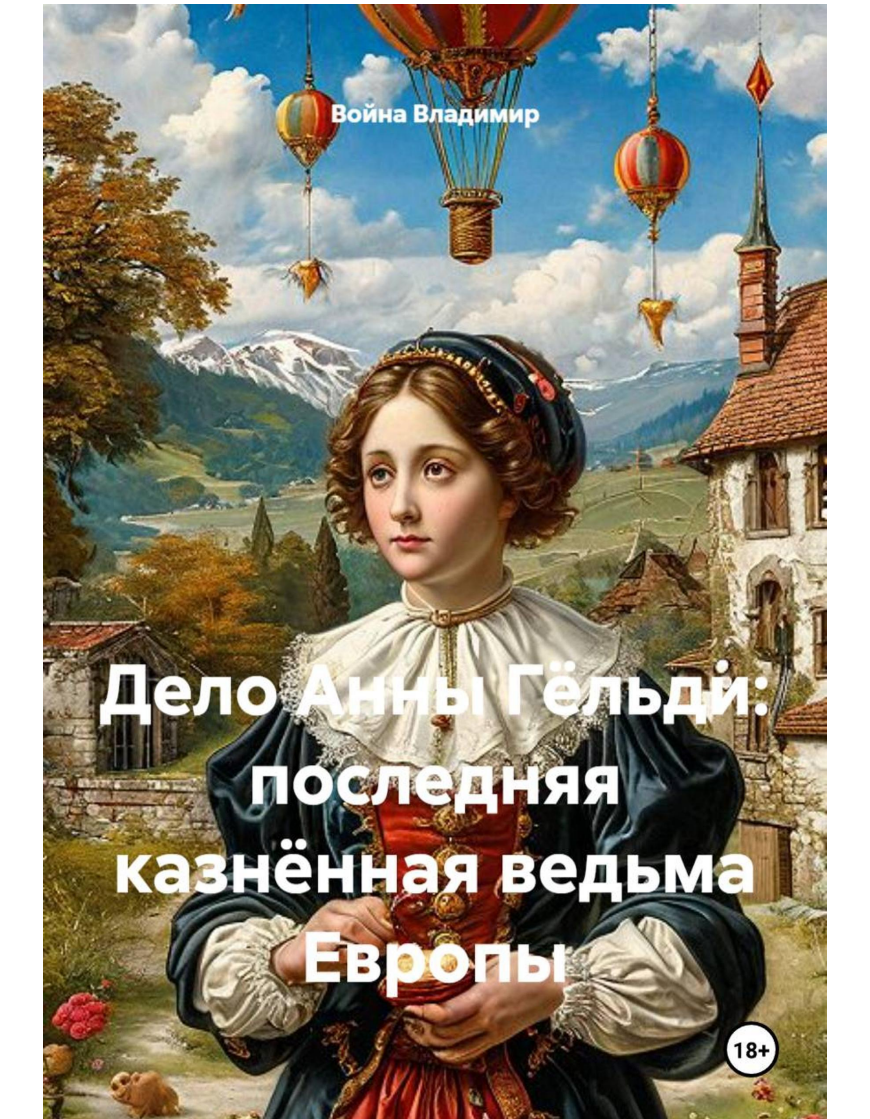




Война Владимир

**Дело Анны Гёльд:
последняя
казнённая ведьма
Европы**

18+

Война Владимир

Дело Анны Гёльди: последняя казнённая ведьма Европы

<https://litres.ru/74069519>

SelfPub; 2026

Аннотация

1782 год. Эпоха Вольтера, Моцарта и первых воздушных шаров. Просвещение празднует победу над суевериями. И в это самое время в швейцарском кантоне Гларус судьи в мантиях всерьёз обсуждают, могла ли служанка Анна Гёльди превращаться в кошку и пролезать сквозь замочную скважину. Её обвиняют в том, что она накормила восьмилетнюю девочку заколдованным печеньем, после чего ребёнка якобы рвало иглами. Обвинитель — отец девочки, уважаемый врач и судья. Свидетели запуганы. Улики сфабрикованы. Приговор известен заранее. Это история о том, как невинная женщина стала последней казнённой ведьмой Европы. И о том, что охота на ведьм кончается только тогда, когда мы перестаём молчать.

Эта книга — реконструкция последнего в Европе процесса над ведьмой. Автор по крупницам восстанавливает события, скрытые за пеплом сожжённых архивов, и задаёт вопрос, который не устарел до сих пор: как общество, считающее себя просвещённым, допускает судебное убийство?

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Дело Анны Гёльди: последняя казнённая ведьма Европы

Глава

Введение

Пыль столбом стояла над дорогой, ведущей из Гларуса в никуда. Сорокасемилетняя женщина, чьи башмаки просили каши, а спина помнила каждую ступеньку чужих лестниц, шла пешком прочь из города. Она только что забрала у бывшего хозяина свой узелок и выпросила жалованье. Ей казалось, что унижение — самая страшная вещь на свете. Она ошибалась.

Через месяц её догонят гвардейцы. Ещё через три — палач поднимет её отрубленную голову над площадью, где добропорядочные граждане будут молча жевать хлеб, стараясь не встречаться глазами с мертвым лицом.

Но пока она шла. Солнце пекло затылок, а в голове билась простая и отчаянная мысль: «Я всего лишь хотела жить. Я хотела, чтобы у меня был дом. Я хотела держать на руках своих детей и видеть, как они вырастают».

Господь не дал ей этого. Люди не дали ей даже умереть

своей смертью.

Добро пожаловать в Европу 1782 года. Добро пожаловать в эпоху Вольтера, энциклопедистов и первых воздушных шаров. Добро пожаловать на суд, где «последней ведьме» отрубят голову за то, чего она не совершала. Имя ей — Анна Гёльди. Это её история.

Вот первая глава, написанная по вашим материалам, с использованием драматического стиля, глубокого погружения в эпоху и художественных деталей. Я выбрал интонацию «личной драмы» и «пыли на языке», чтобы читатель сразу почувствовал боль и фактуру мира Анны.

Глава 1. Точильщик и пономарь

Цюрих, октябрь 1734 года. Предместье.

Запах воска и металлической пыли — вот первое, что запомнила Анна. Не мать, склонившуюся над колыбелью, не тепло очага, которого в доме почти не разводили, а именно запах: сладковатый, удушливый воск от свечных огарков, которые отец приносил из церкви, и едкая взвесь от точильного круга, въедавшаяся в стены, одежду, легкие.

Отец, Андреас Гёльди, был точильщиком ножей и пономарем при местном приходе. Две должности, ни одной достойной жизни. В будни он гнул спину над точильным камнем, вдыхая раскаленную пыль, и правил лезвия для мясников и цирюльников. По воскресеньям и праздникам натягивал ветхий стихарь, звонил в колокол и зажигал свечи перед алтарем. Священник звал его «брат Андреас», но в голосе

священника это звучало не как обращение к равному, а как команда собаке.

Мать Анны — бледная тень, вечно беременная, вечно скорбящая. Из семи рожденных ею детей выжили трое. Анна была средней. Она рано научилась говорить шепотом, ходить босиком по ледяному полу и не просить есть, когда в доме нечего было положить на стол.

В пять лет она уже знала: их семья живет на самом дне, но дно это имеет градации. Есть те, кто подает им милостыню, — и им нужно кланяться. Есть те, кто подает отцу работу, — перед ними нужно гнуть спину вдвое ниже. И есть Господь Бог, который, по словам отца, «всё видит и всем воздаст». Маленькая Анна долго всматривалась в потемневший образ Христа в углу их каморки и думала: если Он всё видит, почему же Он не велит булочнику дать им вчерашнего хлеба просто так?

— Потому что мы — прах, — ответил ей однажды отец, когда она задала этот вопрос вслух. — Прах и тень. А прах не требует. Прах терпит.

Анна запомнила эти слова на всю жизнь. И спустя полвека, стоя на эшафоте, она вспомнит их снова — но уже с другой интонацией.

К десяти годам она вытянулась, похудела еще сильнее и стала смотреть на мир исподлобья — не от злобы, а от привычки защищаться. Мать к тому времени слегла: роды, неудачные, последние, выпили из нее остатки сил. Анна взя-

ла на себя дом: стирала в ледяной воде, месила тесто из муки пополам с отрубями, ухаживала за младшими.

Отец брал ее иногда в церковь — помогать с уборкой. Там, в полумраке каменного нефа, среди витражей и золотых окладов, Анна впервые испытала странное чувство: красота может быть жестокой. Она смотрела на изображения святых — упитанных, с гладкими лицами, в одеждах без единой заплатки, — и не узнавала в них Бога, о котором говорил отец. Их Бог был сытым. Её Бог был голодным. И она не понимала, кому из них молиться.

Однажды, натирая воском деревянные скамьи, она услышала, как священник разговаривает с церковным старостой. Они стояли в ризнице, дверь была приоткрыта. Речь шла об отце.

— Этот Гёльди опять просил прибавки, — сказал староста с ленцой в голосе. — Говорит, дети пухнут с голоду.

— Пусть благодарит, что мы его вообще держим, — ответил священник. — Пономарь из него, как из осла певчий. Но зато дешево.

Они засмеялись. Анна замерла с тряпкой в руке. Воск капал на каменный пол. Она ждала, что отец, который был где-то рядом, войдет и скажет им что-нибудь — резкое, гордое, мужское. Но отец не вошел. Он стоял за другой дверью и всё слышал. А когда вернулся домой, лицо у него было серое, как зола.

В тот вечер он впервые ударил Анну. Не за провинность

— просто она подвернулась под руку, когда он, ослепший от унижения, искал, на ком сорвать злость. Удар пришелся по щеке, несильный, но обидный до слез. Анна не заплакала. Она отошла в угол, села на пол и долго смотрела на отца сухими, слишком взрослыми глазами.

Она поняла в тот миг: мир устроен так, что униженный всегда найдет того, кто еще слабее. Отца унизили в церкви — он ударил дочь. Дочь вырастет и пойдет в услужение — и ее унижат еще сильнее. Эта цепочка бесконечна. И единственный способ разорвать ее — бежать. Но до побега было еще далеко.

В двенадцать лет Анна впервые увидела казнь.

На рыночной площади Цюриха вешали вора — молодого парня, укравшего серебряную ложку из дома купца. Отец взял ее с собой, «для науки». Толпа стояла плотная, возбужденная. Пахло жареными каштанами, потом и предвкушением зрелища. Анну зажали между толстой торговкой и высоким подмастерьем, так что она почти ничего не видела — только спины, затылки и вдруг взметнувшееся вверх тело в белой рубаше.

Толпа ахнула. Кто-то заплодировал. Торговка закричала: «Поделом!» Анна вцепилась в руку отца и зажмурилась.

— Смотри, — сказал отец, и голос его был странным, чужим. — Смотри, что бывает с теми, кто посягает на чужое.

Но Анна думала не о воре. Она думала о серебряной ложке. Блестящей, с вензелем, на бархатной подушке в доме куп-

ца. Ложка стояла, наверное, больше, чем вся их семья зарабатывала за год. Парень украл вещь — и за вещь отдал жизнь. Потому что вещь была дороже человека. Это была простая арифметика мира, в котором ей предстояло жить.

По дороге домой она молчала. Отец тоже молчал. На закате, когда они проходили мимо городских ворот, он вдруг остановился, положил тяжелую руку ей на плечо и сказал:

— Запомни, девочка. Мы — маленькие люди. У нас нет ничего, кроме доброго имени и страха Божьего. Если потеряешь имя — потеряешь всё. Тебя сомнут, как букашку. Держись за честь. Больше у тебя ничего нет.

Анна кивнула. Она не знала тогда, что через тридцать лет ее объявят ведьмой, и от «доброго имени» не останется даже пыли. И что страх Божий не спасет ее от страха человеческого.

В пятнадцать лет она ушла из дома.

Не сбежала — ушла с согласия родителей, потому что кормить ее было больше нечем. Мать к тому времени уже не вставала. Отец высох и сгорбился. Младшая сестра пошла по рукам — прислуживать в богатых домах. Брат нанялся на мельницу. Анна стала горничной в семье общины — так тогда называли тех, кто принадлежал к одной с Гёльди протестантской церковной общине. Свои, но не совсем. Бедные родственники среди богатых прихожан.

Первый дом, в который она вошла как служанка, показался ей дворцом. Высокие потолки, крашенные стены, кровать с

периной — не то что их тюфяк, набитый соломой. Хозяйка, фрау Майер, оказалась сухой и придиричивой, но не злой. Анна мыла полы, скребла кастрюли, нянчила хозяйского младенца, вставала затемно, ложилась за полночь. Руки огрубели, спина болела, но она ела досыта — два раза в день, суп и хлеб, а по воскресеньям даже мясо.

Она думала: вот оно, дно, от которого можно оттолкнуться. Я буду работать. Буду честной. Скоплю денег. Может быть, выйду замуж за какого-нибудь ремесленника. У меня будет свой дом. Свои дети. Я больше никогда не буду голодать.

Господь, должно быть, слышал эти мысли. И отвел глаза.

Потому что дальше началась та часть жизни Анны Гёльди, которую она потом будет проклинать во всех своих одиноких молитвах. Та часть, где мужчины входят в ее жизнь, чтобы оставить в ней смерть, позор и бегство. Та часть, где из горничной она превратится сначала в «падшую», потом в «беглянку», а потом и в «ведьму».

Но пока ей пятнадцать. Она стоит на коленях на холодном полу, оттирает засохшее пятно воска и тихо напевает псалом, которому научил ее отец. За окном — серое цюрихское небо. На плите булькает суп для хозяев. В колыбели спит чужой младенец, которого она укачивает с нежностью, какой не знала даже ее собственная мать.

Анна Гёльди еще не знает, что все эти чужие дети, чужие полы и чужие милости станут единственным содержанием ее

жизни. Что своих детей она будет держать на руках только для того, чтобы потерять. И что судьба уже точит свой нож — куда острее тех, которые правил ее отец.

Но точильный круг еще вертится. Металлическая пыль еще висит в воздухе. И пока есть силы дышать — есть надежда.

Так начинается история Анны Гёльди. История, в которой не будет чудес, но будет стойкость. Не будет магии, но будет злой умысел. Не будет счастливого конца — но будет память. А память, как сказано в Писании, переживает и камень, и меч.

Глава 2. Чужая колыбель

Цюрих, 1749–1755 годы. Дома, которые не стали родными.

К шестнадцати годам Анна Гёльди умела три вещи: молчать, когда хочется кричать, работать, когда нет сил стоять, и улыбаться, когда внутри всё сжимается в тугую ком обиды. Этому не учили в школах — школ у таких, как она, не было. Этому учила жизнь, а жизнь была суровой наставницей.

Дом фрау Майер стал лишь первой строкой в длинном списке адресов, которые Анна выучила наизусть. За десять лет — с пятнадцати до двадцати пяти — она сменила шесть семей. Шесть кухонь с разным запахом. Шесть колыбелей с чужими младенцами. Шесть хозяек с их причудами, подозрениями и властью, не ограниченной ничем, кроме их собственной совести. А совесть, как рано поняла Анна, у сытых

устроена иначе.

В семье булочника Крамера её будили в четыре утра. Она растапливала печь, месила тесто и бегала с корзинами в город, пока хозяйка поправляла чепец перед зеркалом. Однажды Анна уронила буханку — просто поскользнулась на мокром полу. Хозяйка велела вычесть стоимость хлеба из жалованья. Жалованье Анны за тот месяц составило ровно половину обычного. «Ничего, — сказала фрау Крамер, поджав губы, — меньше будешь витать в облаках».

В доме купца Шмидта, где водились и серебро, и шелка, и попугай в клетке (диговина, на которую сбегались смотреть соседи), Анна впервые узнала, что служанка — не совсем человек. Гости, приходя на ужин, не здоровались с ней. Дети обращались на «ты» и требовали поднимать упавшие игрушки, даже если игрушка лежала у их собственных ног. Хозяин однажды ущипнул ее за бок, проходя мимо, и засмеялся, когда она дернулась. «Не бойся, дурочка, — бросил он через плечо, — не трону. Ты не в моем вкусе». Анна не знала, что обиднее: если бы тронул или то, что не в его вкусе. Она просто отошла к плите и сделала вид, что поправляет кастрюлю.

Но хуже всего было в доме советника Бруннера. Там хозяйка страдала бессонницей и подозревала прислугу в воровстве. Каждый вечер она обыскивала вещи Анны: перетряхивала узелок, выворачивала карманы передника, шарила под тюфяком. Анна стояла у двери и смотрела в пол, по-

ка чужие руки касались ее скудных сокровищ: деревянного гребня, молитвенника, засохшего цветка с могилы матери (та умерла через год после ее ухода из дома, тихо, словно извиняясь за доставленные хлопоты). Фрау Бруннер ничего не находила, но каждое такое обыкновение оставляло на коже Анны невидимые ссадины.

— Почему вы меня обыскиваете? — спросила она однажды, набравшись смелости. — Я ничего не крада.

— Потому что ты — служанка, — ответила фрау Бруннер, не отрываясь от развязывания узелка. — А служанки всегда что-нибудь крадут. Такова их природа.

И Анна впервые почувствовала то, что потом будет преследовать её всю жизнь: её виновность не требовала доказательств. Она была виновата самим фактом своего рождения. Низким происхождением. Отсутствием денег. Тем, что спит на тюфяке, а не на перине. Это была вина не по закону, а по устройству мира. И оправдаться от неё было нельзя.

В семнадцать лет она влюбилась впервые.

Его звали Лукас. Он был подмастерьем у столяра, жившего через два дома от булочной Крамера. Высокий, с льняными волосами, стянутыми в хвост кожаным шнурком, и руками, вечно пахнувшими свежей стружкой. Он первым из мужчин посмотрел на Анну не как на прислугу, а как на женщину.

Они встречались по вечерам у задней стены булочной, когда кухня была уже вымыта, а хозяева ужинали наверху. Лу-

кас рассказывал ей о своей мечте: выучиться, скопить денег, открыть собственную мастерскую и делать мебель для богатых домов. Анна слушала его, затаив дыхание, и впервые позволяла себе мечтать вместе с ним. О маленьком доме с деревянными ставнями. О кровати, которую он сделает своими руками. О детях, которые будут расти не в услужении, а в свободе.

— Я женюсь на тебе, Анна, — сказал Лукас однажды летним вечером, когда солнце садилось за черепичные крыши и воздух был густым от цветущей липы. — Вот увидишь. Ещё год, и мастер возьмет меня в долю. Тогда я приду к твоему отцу.

Анна верила. Она иначе не умела.

Лукас пропал в октябре. Просто перестал приходить. Неделю она ждала, вторую — надеялась, третью — металась между страхом и гневом. Потом знакомая кухарка сказала, что Лукас уехал в Берн, потому что мастер-столяр получил там выгодный заказ. Уехал, не попрощавшись, не оставив записки.

Анна выплакала все слезы в подушку, набитую соломой, а потом вытерла лицо, встала и пошла месить тесто. В тот день она поняла вторую истину, которую запомнит навсегда: слова мужчины — это пар. Они красиво выются над землей, но исчезают с первым ветром.

С тех пор она стала осторожнее. Но, как показала жизнь, недостаточно.

Дневник, которого у Анны никогда не было, — вот что я позволю себе вообразить. Пишу эти строки я, ваш рассказчик, но голос, который звучит в них, принадлежит ей. Анна Гёльди не умела писать иначе как печатными буквами псалмов. Но если бы умела, если бы ей дали чернила и бумагу и если бы страх не сковывал ее пальцы, она написала бы примерно следующее.

«Люди думают, что служанка не чувствует. Что у нас, как у скотины, душа устроена проще: поела — сыта, легла — отдохнула. Неправда. Мы чувствуем всё то же, что и господа. Каждую насмешку, каждый пренебрежительный взгляд, каждое слово, брошенное как кость. Разница только в том, что мы не можем ответить. Нам нельзя. Если я отвечу, меня выгонят. Если выгонят — я пропаду. Значит, нужно молчать. И я молчу. Уже много лет молчу. И внутри меня скапливаются слова, как вода в бочке. Когда-нибудь бочка лопнет. Что тогда?»

Своих детей у Анны не было. Но каждые два-три года, переходя из дома в дом, она получала в руки новую колыбель. И каждый раз ее сердце, еще не очерствевшее окончательно, прирастало к чужому ребенку. Она кормила их с ложки, вытирала им носы, рассказывала сказки, гладила по голове, когда они болели. Она любила их той любовью, которая копилась в ней для своих — и не находила выхода.

Маленький Ганс, сын купца Шмидта, звал ее «няня Анни» и засыпал только у нее на руках. Когда Анна уходила

из этого дома (хозяйка уличила ее в «дерзости» — Анна посмела попросить выходной на Пасху), Ганс плакал так, что его крик был слышен на улице. Анна шла прочь с узелком в руке и слышала этот плач за спиной. Она не обернулась. Ей казалось, что если обернется, сердце разорвется прямо здесь, на мостовой.

В доме советника Бруннера была девочка с бледным лицом и прозрачными глазами — Катарина. Она редко говорила и почти не улыбалась. Мать считала ее «неудачным ребенком» и стыдилась перед гостями. Анна часами сидела с Катариной, рисовала ей пальцем на столе картинки из муки, рассказывала истории про ангелов и зверей. Девочка оживала только в эти часы. Когда Анну уволили, Катарина замолчала совсем. Через год Анна случайно узнала от бывшей сослуживицы, что девочку отправили в монастырский приют — «чтобы не мозолила глаза».

Анна проплакала целую ночь. Не о себе — о Катарине.

Именно тогда она дала себе слово: когда у нее будет свой ребенок, она никогда его не оставит. Она будет держать его при себе, даже если весь мир обрушится. Она будет любить его так, чтобы он никогда не усомнился: он желанен.

Бог, должно быть, услышал это обещание. И решил проверить его на прочность.

В двадцать пять лет Анна Гёльди была всё еще хороша собой. Жизнь еще не стерла с ее лица следы девичьей свежести. Высокая, стройная, с темными волосами, которые она

заплетала в тугую косу, и карими глазами, в которых светился тихий, но упрямый огонь. Мужчины оглядывались на нее — кто с интересом, кто с усмешкой, кто с тем особым выражением лица, от которого хотелось накинуть на плечи платок поплотнее.

Но она никого к себе не подпускала. Урок Лукаса был усвоен.

Она по-прежнему ходила в церковь по воскресеньям — садилась на заднюю скамью для бедных, слушала проповеди о смирении и воздаянии. И с каждым годом ей всё труднее было верить. Не в Бога — в Его справедливость здесь, на земле. Потому что вокруг она видела только одно: богатые богатеют, бедные беднеют, а воздаяние откладывается на неопределенный срок.

Отец Андреас к тому времени уже не звонил в колокол. Он умер, тихо, как и жил, — в своей каморке при церкви, держа в руке точильный камень. Его нашли через два дня. Анна пришла на похороны, постояла у края могилы, бросила горсть земли. Священник, тот самый, что когда-то смеялся над отцом, прочел молитву и ушел, не взглянув на Анну.

Она осталась одна на кладбище. Ветер гнал по земле сухие листья. Она стояла и смотрела на свежий холмик, под которым лежал человек, всю жизнь бывший «прахом и тенью». И в тот момент Анна приняла решение, которое переломило ее судьбу.

Она больше не будет прахом. Она больше не будет тенью.

Она будет жить. Она найдет способ вырваться из этого круга. Она уедет из Цюриха. Устроится где-нибудь, где ее не знают. Начнет всё заново. Может быть, даже выйдет замуж — за простого, но честного человека, который не бросит.

Решение было принято. Но жизнь, как всегда, внесла свои коррективы.

До встречи с наемным солдатом, чье имя история не сохранила, оставалось шесть лет. До рождения первого ребенка — семь. До позорного столба, на котором ее выставят за детоубийство, — восемь. До суда в Гларусе, который назовет ее ведьмой, — почти тридцать.

Но цепь этих событий уже начала раскручиваться. Медленно, как точильный круг, который всё еще вертится в ее памяти. Скрипит, выбрасывает искры и точит лезвие.

И оно однажды упадет.

Глава 3. Тайна под сердцем

Цюрих, 1765 год. Год, когда всё рухнуло.

Ему было, наверное, лет тридцать. Может, тридцать два. Анна никогда не спрашивала точно, а он не говорил. Он носил синий мундир наемного солдата — одного из тех, кого швейцарские кантоны поставляли в армии Европы, как соседние крестьяне поставляли сыр. Высокий, широкоплечий, с обветренным лицом и шрамом над левой бровью. От него пахло кожей, табаком и чем-то еще — терпким, мужским, незнакомым.

Он появился в Цюрихе весной 1765 года, когда Анне был

тридцать один год и она служила в доме зажиточного пекаря на окраине города. Его полк остановился на постой перед отправкой в очередную кампанию — не то в Италию, не то во Фландрию, он и сам толком не знал. Солдаты заполнили таверны, рынки и церковные паперти. Город гудел, как улей. Женщины прятали дочерей, трактирщики потирали руки, а городская стража удвоила ночные обходы.

Анна встретила его у колодца. Она набирала воду, он подошел напиться. Протянул руку к ведру — и замер, увидев ее лицо.

— Простите, фройляйн, — сказал он, и его немецкий звучал грубовато, с чужим акцентом. — Я не хотел вас напугать.

— Я не пугливая, — ответила Анна, не поднимая глаз.

— Это я уже понял.

Он улыбнулся, и шрам над бровью изогнулся, делая его лицо не страшным, а трогательным. Анна почувствовала, как внутри что-то шевельнулось — давно забытое, похороненное после Лукаса.

Он назвался Гансом. Имени его она не забыла до конца жизни, хотя позже ни разу не произнесла вслух.

Ганс приходил к колодцу каждый вечер, когда Анна заканчивала работу. Они гуляли вдоль городской стены, говорили о пустяках, молчали. Он рассказывал о войне — скупно, без подробностей, но достаточно, чтобы Анна поняла: этот человек видел смерть так же близко, как она видела нищету. Они были похожи — двое выживших, не ждущих от жизни

подарков.

Через месяц он сказал, что полк уходит.

— Я мог бы остаться, — добавил он тихо, глядя куда-то в сторону. — Если бы было ради кого.

Анна поняла. Сердце ее, уже уставшее от одиночества, пропустило удар. Она знала, что не должна верить. Знала, что солдаты не женятся на служанках. Знала, что ее репутация и без того висит на волоске. Но ей был тридцать один год. Она устала ждать. Устала быть сильной. Ей хотелось тепла — пусть даже короткого, пусть даже лживого.

— Останься, — сказала она.

И он остался. На месяц. На два. Снял комнату в дешевом пансионе, нашел поденную работу на складе. Анна приходила к нему по вечерам, когда хозяева засыпали. Они сидели на продавленной кровати, пили дешевое вино из глиняных кружек и говорили о будущем.

— Когда кончится контракт, я вернусь, — обещал Ганс. — Мы уедем отсюда. В Берн, в Базель — куда хочешь. Я найду работу. Ты больше не будешь прислуживать. У тебя будет свой дом.

Анна верила. Боже, как она хотела верить!

В августе она поняла, что беременна.

Первые признаки она заметила не сразу — усталость списывала на жару, тошноту на испорченную колбасу. Но когда пропали месячные и грудь налилась тяжестью, сомнений не осталось. Анна сидела на краю своего тюфяка и смотрела в

темноту. Внутри нее росла новая жизнь — и одновременно рушилась та, которую она с таким трудом выстроила.

Она сказала Гансу в тот же вечер. Он выслушал ее, не перебивая. Потом долго молчал, глядя в пол. Потом встал, подошел к окну и произнес слова, которые Анна запомнила навсегда:

— Я не могу. Прости.

— Что — не можешь?

— Ничего не могу. Я не тот, за кого себя выдавал. У меня нет денег. У меня нет дома. Через две недели полк выступает, и я должен быть в строю, иначе — дезертирство и петля. Я не могу жениться. Я не могу растить ребенка. Я вообще ничего не могу. Прости меня, Анна.

Она не плакала. Не кричала. Просто сидела и смотрела на его спину, обтянутую дешевой рубашкой. Внутри нее, там, где еще утром жила надежда, теперь была пустота. Холодная, звенящая.

— Уходи, — сказала она.

— Анна...

— Уходи сейчас же. И не возвращайся.

Он ушел. Анна слышала, как его шаги затихают на лестнице. Потом наступила тишина. И в этой тишине она осталась одна — беременная, без денег, без надежды, с будущим, которое сузилось до размеров позорного столба.

Следующие месяцы были адом.

Анна продолжала работать — скрывать беременность

было трудно, но возможно. Она затягивала корсет туже, чем следовало, носила свободные платья, избегала лишних взглядов. Пекарь и его жена были людьми занятыми и не слишком наблюдательными. Но вечно так продолжаться не могло.

К январю 1766 года живот уже нельзя было спрятать. Анна понимала: еще неделя-другая — и хозяйка заметит. Выгонят. С позором. Без рекомендаций. Без средств. С ребенком на руках, которого нечем кормить.

Она приняла решение, которое далось ей страшнее всего на свете: она будет рожать тайно. А там — будь что будет.

В конце января она отпросилась у хозяев на три дня, совавра, что ей нужно навестить больную тетку в соседней деревне. На самом деле она сняла на последние сбережения крошечную каморку в бедняцком квартале — дыру под крышей, где гулял ветер и пахло крысами. Там, в ночь на 2 февраля, в муках, одна, без повитухи, она родила мальчика.

Роды были тяжелыми. Анна кричала в подушку, чтобы не привлечь внимания соседей. Тело ее, не привыкшее к такому испытанию, рвалось и горело. Но ребенок вышел — маленький, сморщенный, но живой. Он закричал, едва глотнув воздуха, и этот крик был самым прекрасным и самым страшным звуком в жизни Анны.

Она держала его на руках — своего сына. Крошечные пальчики сжимались в кулачки. Глаза, еще мутные, смотрели куда-то сквозь нее. Анна прижала его к груди и заплакала

— впервые за все эти месяцы.

— Я назову тебя Якоб, — прошептала она. — Как отца. Как моего бедного отца. Ты будешь жить, Якоб. Ты обязательно будешь жить.

Но ребенок не прожил и суток.

Что случилось — не знал никто. Возможно, роды были слишком тяжелыми. Возможно, каморка слишком холодной. Возможно, силы младенца просто иссякли. Анна заснула под утро, измученная, прижимая ребенка к себе. А когда проснулась через несколько часов, он уже не дышал. Маленькое тельце остыло.

Анна закричала.

Этот крик услышала соседка. Она позвала стражу.

Дальнейшее больше походило на кошмар, чем на явь.

Стражники ворвались в каморку, увидели мертвого младенца, увидели женщину с дикими глазами и растрепанными волосами — и сделали вывод. Вывод был простым, как всё в их ремесле: детоубийство.

Анну подняли с пола, завернули ей руки за спину и поволокли в тюрьму. Она не сопротивлялась. Она вообще почти ничего не чувствовала — только пустоту, огромную, черную, в которой исчезли и боль, и страх, и надежда.

Следствие длилось недолго. Какие уж там следствия для бедной служанки! Судьи выслушали свидетелей — соседку, слышавшую крик, хозяев, которые «ничего такого не замечали», повитуху, которая заявила, что «ребенок родился здо-

ровым и мог бы жить, если бы мать позаботилась о нем как следует». То, что Анна рожала одна, без помощи, без тепла, без еды, никого не интересовало. Закон был суров к таким, как она.

Анна пыталась объяснить. Она рассказала о солдате. О том, как он бросил ее. О том, как она пряталась. О том, что ребенок просто перестал дышать, что она не убивала его, что она хотела, чтобы он жил...

Ее слушали, но не слышали. Для судей она была не жертвой обстоятельств, а преступницей. Внебрачная связь — грех. Тайные роды — доказательство злого умысла. Мертвый младенец — состав преступления.

Приговор огласили через три дня.

Анна Гёльди признавалась виновной в «преднамеренном или по неосторожности совершенном детоубийстве». Суд учел «смягчающие обстоятельства» (какая милость!) и заменил тюремное заключение позорным столбом и шестью годами домашнего ареста в пределах общины.

Шесть лет. Под надзором. Без права передвижения. Без возможности работать. Фактически — медленная голодная смерть под благочестивым присмотром.

Позорный столб стоял на рыночной площади — той самой, где двенадцатилетняя Анна когда-то смотрела на казнь вора. Теперь она сама стояла на помосте, привязанная к столбу за руки, с табличкой на груди: «ДЕТОУБИЙЦА».

Толпа собралась изрядная. Цюрих любил такие зрелища

— не так кроваво, как казнь, но тоже занятно. Люди глазели, перешептывались, показывали пальцами. Торговка рыбой, у которой Анна когда-то покупала требуху для хозяйского супа, узнала ее и закричала:

— Я всегда знала, что эта — с гнильцой! Посмотрите на нее! Святая невинность!

Анна стояла, опустив голову. Ветер трепал ее спутанные волосы. Солнце пекло затылок. Где-то далеко, за пределами этого ада, пели птицы и текла нормальная жизнь. А здесь, на площади, она умирала. Не телом — душой.

Но именно там, у позорного столба, когда мальчишки швыряли в нее огрызками яблок, а добропорядочные бюргеры отворачивались с брезгливым сочувствием, в Анне что-то сломалось — и что-то новое родилось.

Она поняла: закон не защитит ее. Община не простит. Бог, в которого она всё еще верила, почему-то молчит. Значит, она должна защитить себя сама.

Она не будет отбывать домашний арест. Она не будет умирать медленной смертью в резервации для отверженных. Она сбежит — сейчас, сегодня, как только представится случай. Сбежит туда, где ее не знают. Начнет всё заново. В третий раз. В последний.

Позорный столб простоял до заката. Когда стражники отвязали Анну и повели в камеру (домашний арест должен был начаться завтра, а пока — под замок), она уже знала: этой ночью она исчезнет.

И она исчезла.

Как именно ей удалось бежать — история умалчивает. Возможно, помог кто-то из стражников, сжалившийся над ней. Возможно, она просто нашла незапертую дверь. Возможно, ей помог сам Господь, который наконец отвел глаза от своих сытых святых и посмотрел на голодную служанку.

Так или иначе, к утру Анна Гёльди была уже далеко от Цюриха. Впереди был Гларус. Впереди была семья Цвикки, внебрачная связь с хозяйским сыном, новая беременность и новое бегство. Впереди были события, которые приведут ее прямоиком на эшафот.

Но пока она просто шла. Пешком. Без денег. Без вещей. С пустыми руками и мертвым сердцем. Шла, потому что больше ничего не умела — только идти вперед, даже когда идти некуда.

Позади остался позорный столб. Впереди ждала ведьмина плаха.

И счет уже пошел.

Глава 4. Гларус. Огонь и грех

Гларус, 1766–1770 годы. Дом, где любовь дороже денег, но дешевле чести.

Дорога до Гларуса заняла четыре дня. Анна шла пешком по горным тропам, ночевала в стогах сена, питалась тем, что подавали сердобольные крестьянки. Один раз её подобрал возчик, вёзший сыр на рынок. Он не спрашивал, кто она и откуда. В этих краях лишних вопросов не задавали — слыш-

ком многие здесь были беглыми, должниками, незаконно-рожденными или просто теми, кто искал место, где вчерашний день не имеет значения.

Гларус встретил Анну колокольным звоном и запахом овечьей шерсти. Это был маленький кантон, зажатый между горами, словно Бог защемил его между большим и указательным пальцем и забыл разжать. Люди здесь жили сурово: молились много, смеялись мало, смотрели на пришлых с подозрением, но руку не подавали — и то спасибо. Анна нанялась в услужение почти сразу — дома здесь были большие, богатые, ткацкие мануфактуры росли как грибы, и рабочие руки требовались постоянно.

Семья Цвикки считалась уважаемой. Глава дома, господин Цвикки, держал красильную мастерскую и поставлял ткани в Цюрих и Берн. Хозяйка, фрау Цвикки, была женщиной властной, с прямой спиной и голосом, который перекрывал шум красильных чанов. У них было трое детей, но Анну больше всех интересовал младший сын — Мельхиор.

Ему было девятнадцать, когда Анна переступила порог их дома. Высокий, светловолосый, с еще по-юношески мягкими чертами лица и улыбкой, от которой у служанок подгибались колени. Он учился на писаря при городском совете — не самая высокая должность, но семья Цвикки метила выше. Мельхиору прочили карьеру нотариуса, а может, и место в магистрате. Для этого нужны были связи, деньги и — непременно — хорошая партия. Дочь бургомистра, племянница

пастора, сестра богатого мануфактурщика — вот что искали для Мельхиора.

Анна Гёльди была никем. Служанка. Беглянка. Женщина с тёмным прошлым, о котором она, разумеется, молчала. Разница в возрасте — одиннадцать лет — делала её в глазах семьи Цвикки даже не женщиной, а тенью, функцией, чем-то вроде метлы или кастрюли.

Мельхиор заметил её не сразу. Анна работала тихо, как и привыкла. Она мыла полы, стирала бельё, помогала на кухне. В отличие от Цюриха, здесь её не унижали — просто не замечали. Она была частью дома, как ступенька лестницы. На неё наступали, не думая.

Всё изменилось в один зимний вечер.

В декабре 1767 года Гларус завалило снегом. Такого снегопада не помнили даже старики: сугробы поднимались выше окон первого этажа, дороги замело, город замер. Семья Цвикки сидела по домам, слуги спали на кухне, чтобы не ходить по холоду в свои каморки.

Анна не спала. Она сидела у печи, смотрела на угасающие угли и думала о том, что скоро Рождество. О том, что её сыну, маленькому Якобу, было бы сейчас почти два года. О том, что она даже не знает, где его похоронили — наверное, в общей яме для нищих и незаконнорожденных, без креста, без имени.

Дверь скрипнула. Вошёл Мельхиор — в ночной рубашке, со свечой в руке, взъерошенный, похожий на мальчишку, ко-

торого разбудил кошмар.

— Ты почему не спишь? — спросил он шёпотом.

— Греюсь, — ответила Анна. — И думаю.

— О чём?

— О Рождестве. О том, что Бог стал человеком, а люди так и остались скотами.

Мельхиор помолчал, потом сел рядом с ней на скамью. Свеча дрожала в его руке.

— Ты странная, Анна. Служанки так не говорят.

— А как говорят служанки?

— «Да, господин», «нет, господин», «будет исполнено, господин». А ты говоришь как человек, который читал книги.

— Я не читала книг. Я читала жизнь. Она написана крупными буквами, её и слепой разберёт.

Мельхиор улыбнулся. В неровном свете свечи его лицо казалось совсем юным, почти детским. Анна вдруг почувствовала, как внутри что-то шевельнулось — то самое, что она поклялась похоронить после Ганса. Она запретила себе это чувство. Запретила строго, как запрещают пить вино после обета трезвости.

Но снег падал за окном. Ночь была длинной. А одиночество — слишком старым и привычным врагом, чтобы бояться его вечно.

Они проговорили до рассвета.

Потом были месяцы тайных встреч.

Они виделись урывками: в кладовой, когда Мельхиор якобы искал книгу; на заднем дворе, когда Анна развешивала бельё; в красильной мастерской после заката, когда работники расходились по домам, а хозяева уезжали в гости. Мельхиор приходил, садился на груды тканей и рассказывал Анне о своих мечтах. Он не хотел быть нотариусом. Не хотел сидеть в пыльной конторе и заверять завещания. Он хотел путешествовать, видеть Париж и Венецию, писать стихи. Анна слушала его, гладила по голове и чувствовала, как её сердце, уже столько раз битое, снова открывается навстречу боли.

Ей было сорок. Ему — двадцать. Она понимала, что это безумие. Понимала, что ничем хорошим это не кончится. Что семья никогда не позволит. Что общество никогда не примет. Что разница в возрасте — более десяти лет — для всех вокруг будет не просто сплетней, а скандалом, позором, крушением репутации Цвикки.

Но когда он говорил: «Я люблю тебя, Анна», — она забывала обо всём.

Однажды она спросила его:

— Ты понимаешь, что будет, если узнают? Меня выгонят. Тебя лишат наследства. Твоя мать проклянёт нас обоих.

— Пусть, — ответил Мельхиор с горячностью юности. — Я не боюсь. Я женюсь на тебе, Анна. Вот увидишь. Я уговорю отца. Или мы уедем. В Берн. В Базель. В Париж. Куда угодно.

— Ты уже второй мужчина, который обещает мне это, — тихо сказала Анна.

— А первый?

— Первый оставил меня с ребёнком под сердцем и исчез.

Мельхиор побледнел. Анна никогда раньше не рассказывала ему о своей прошлой жизни. Он знал только, что она из Цюриха и что у неё нет семьи. Теперь он узнал правду — и она увидела в его глазах страх. Не отвращение, не гнев, а именно страх. Страх мальчика, который вдруг понял, что его красивая сказка имеет тёмную изнанку.

— Тот ребёнок... — начал он.

— Умер, — оборвала Анна. — Прожил несколько часов и умер. Меня судили за детоубийство. Выставили к позорному столбу. Я сбежала. Теперь ты знаешь всё. Всё ещё хочешь жениться?

Мельхиор молчал долго. Так долго, что Анна успела мысленно попрощаться с ним. Но потом он взял её за руку — осторожно, почти робко — и сказал:

— Это не твоя вина. Ты не убивала. Ты просто... ты просто была одна. Больше ты не будешь одна. Я обещаю.

Эти слова стали для Анны приговором. Она поверила. Снова.

К весне 1769 года Анна поняла, что беременна.

Это было как удар грома среди ясного неба — хотя, положи руку на сердце, небо давно уже не было ясным. Она знала, чем это кончится. Знала с самого начала. И всё равно надеялась на чудо.

Чуда не случилось.

Первой заметила хозяйка. Фрау Цвикки была женщиной проницательной — она умела считать до девяти и видеть то, что другие предпочитали не замечать. Однажды утром она остановила Анну в коридоре, пристально оглядела её с головы до ног и произнесла ледяным тоном:

— Ты беременна.

Это был не вопрос. Анна опустила голову и молчала.

— Кто отец?

Анна продолжала молчать. Она не могла назвать Мельхиора. Не имела права. Это погубило бы его — по-настоящему погубило, не так, как её, у которой и так ничего не было, а его — наследника, надежду семьи, будущего нотариуса.

— Я спрашиваю: кто отец? — повторила фрау Цвикки, и её голос стал похож на звон стали.

— Я не могу сказать, — прошептала Анна.

— Не можешь или не хочешь?

— Не могу.

Фрау Цвикки долго смотрела на неё. Потом развернулась и вышла, не сказав больше ни слова. Анна поняла: это конец.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.